

ЖИЗНЬ И ПОХОРОНЫ БАБЫ НАСТИ

Вот и схоронили вчера бабу Настю. Честь по чести схоронили, уж она бы не обиделась. Отмаялась, бедная. Жила тяжело, а померла легко. Поутру за водой пошла да и упала у колодца. Сердце порвалось. Намучалось, видать, сильно, накопило в себе разного, и доброго, конечно, но больше тяжёлого. А тяжёлое-то поболе весит, да всё откладывалось. Много скопилось.

К колодцу баба Настя пришла, заглянула в него, водицу светлую увидела, сердце возрадовалось водице той да и пожелало груз этот непомерный из себя выкинуть. Подпрыгнуло, ан вона что получилось – сильно, видать, подпрыгнуло, порвалось. Но всё же тяжесть ушла вся, потому как в домовине лежала баба Настя добрая. Лицо светлое, как у той водицы. Будто в радость был ей уход этот.

Мало что хорошего она в этом мире видела. Пережито негожих денёчков столько, что и десятиерым в жизни много бы показалось. С самых ранних годов на крестьянской работе. С петухами встанет, за полночь ляжет. Скотину накорми, прибери, домашним на стол подай, в доме порядок наведи, на ферму сходи, постирай, огород прополи... И так целыми днями. Как белка в колесе.

Раненько и замуж пошла, думала освободиться малость от забот. Да и парень больно видный был, шутковать всё любил. Обещал на руках всю жизнь носить. А стала Степановой женой – так всю жизнь и прошутковал, непутёвым оказался. Молодым всё по девкам бегал, а позже запил горькую, да со скандалами. Уйти хотела, да куда там. Дети пошли: два сына, три дочки. Кому с таким привесом нужна?

99

А может, и нашла б кого, да на чад своих молиться стала. Думала, хоть к старости подмога. Эх, кабы знать! Добра и от них мало видела. С малых лет: «не хотим», «не будем», «некогда». Правда, ещё словцо одно у всех любимое было – «дай»: «Ма, дай поесть», «дай денег», «ма, дай поспать».

Пацаны – Сашка да Мишка – целыми днями где-то хулиганствовали. Только и слышно было от соседей: там куру придавили, там собаку прибили, там кошку подожгли. Баба Настя их и побьёт когда, и пристыдит. А им всё едино: «Что пристала?» И участковый, нет недели, чтоб не упрекнул: «Что ж ты, Настасья Ивановна, своих шалопаев не воспитываешь? Ох, пойдут они у тебя по кривой дорожке, наплачешься».

Знал бы он, что и слёз-то у неё уже не осталось. Уж все выплакала. Да вот жаловаться не приучена была, в себе все держала, в сердце от-

кладывала. Только и скажет в ответ, как огрызнётся: «А ты почто ко мне обращаешься, хозяйну говори. У него времени поболее воспитывать их». Участковый только рукой махнет, что, мол, с такой разговаривать.

Ему б к голосу её прислушаться или в глаза посмотреть – мольбы там сколько. Но он лицо официальное, не положено ему в душу заглядывать. Штраф там выписать, пристыдить прилюдно – это можно. А к Стёпке какой толк обращаться, хихикнет только в ответ: «А мне что? Матка есть. Может, он и не мой вовсе». И бочком, бочком – шнырк, и нет его. Вот уж право, одно слово – хозяин. В доме палец о палец не ударит, только и видели его по другим хатам, где чего залатать, подштукатурить за стакан бормотухи. К себе в дом к вечеру приползёт да со скандалом: «Жрать подавай, стерва невымытая». И спать в сапожищах на кровать. Ох, сколько он её кровушки испил, и всё из сердечка норовил зачерпнуть. А оно не бездонное.

Последнее время Степан совсем опустился и в дому не бывал. Где выпьет, там и упадёт. Баба Настя уже молилась, чтобы Бог его прибрал. Ан вон как вышло – пережил её и за ней торопиться, видно, не собирается. Ничего Стёпку не берёт: ни мороз трескучий, ни сырость болотная. Проспиритовал себя от всякой непогоды.

Вот так и жила баба Настя. Пришло время, шалопаи за драчку с поножовщиной в тюрьму попали, девки одна за другой замуж вышли. Вот, казалось, и отдых тебе, Настасья Ивановна. Да не долгод он был, отдых тот.

Верка на северах двойню родила, с мужиком что-то у неё не заладилось. Ушёл он от неё. Вот Верка и примчалась домой, уговорила мать годок девчонок у себя подержать, пока своё семейное счастье не восстановит. Уехала – и с концами, за все двенадцать лет только открытки к женскому дню слала.

Поначалу баба Настя внучек назад хотела отправить, да потом привыкла к ним, полюбила. И девчонки – Люда с Наташей – хорошими росли. Не в мать. В радость на старости лет, в радость, правда, сквозь слёзы. Ан как не успеет поднять, помрёт, что с ними станется? Болела душа, и сердце жалилось. А внучки помогали, добрые они. Видно, доброту-то эту баба Настя им всю отдала. Даже Стёпка при внучках помалкивал, побаивался, верно, их.

Вскоре сыны из тюрьмы вернулись. Но в дому не остались, нашли себе сожительниц и пьян-

ствовали с ними день-деньской. Повадились к ним ходить и Стёпка. Пили да дрались. К матери только за едой, за деньгами являлись. Да и дочки, Светка да Томка, всё помощи просили. Нет, не сладка была жизнь у бабы Насти. Вот и не выдержало сердечко.

На похороны собрались все, кроме Верки. Точный её адрес никто не знал, потому не сообщили. Сыны по старой привычке заторопились копать могилку, будто и забыли, что это умерла их мать, а не чужой человек.

Стёпка, с утра пьяный, крутился между горницей, в которой лежала баба Настя, и кухней, постоянно причитая: «Да на кого ж ты нас покинула, красно солнышко, да как же мы тепереча без тебя?» – не забывая при этом время от времени прикладываться к бражной кружке. Томка и Светка хлопотали на кухне, покрикивали на отца: «Пьянь несчастная, до поминок утерпеть не мог!».

– Да что вы, девки? Матка ж померла, в кои-то рази. Что ж, и помянуть уж нельзя? Грех такой на себя нельзя брать. И сами-то по рюмочке пропустили бы за упокой души, прости, Господи.

– Да помянем опосля. И ты поостерегись прикладываться, а то ещё в ямину к ней свалишься. Вместях и захороним, – улыбнулась своей шутке Светка.

– Не бойсь, я как огурчик. Ещё приложусь разок-другой – и шабаш: до поминок ни-ни.

У гроба безутешно плакали Люда с Наташей, за ними стояли сожительницы сынов, гладили их по головам и пришёптывали нетрезвыми голосами:

– Ну, буде, буде. Чего нюни-то распустили? Бабка сырость не любила. Да вон и людям расстройство одно, ведь не вернёшь её уже.

К полудню приехал батюшка и стал отпевать бабу Настю. Людей в горнице скопилось – страсть. Некоторые собрались полюбопытствовать на батюшку и его работу. Батюшка обмахивал домовину кадилком и певческим голосом читал молитву за упокой. Сказав «Аминь!», он перекрестил правой рукой покойницу и вдруг вздрогнул, глаза у него расширились, нижняя челюсть стала отвисать. Стёпка, повторяя все его движения, но левой рукой, завыл пьяным козлиным голосом: «Аллилуйя, аллилуйя, наша матка, улетай, аллилуйя, друга матка, прилетай!», при этом в такт притоптывал ногой. Народ ахнул. Кое-где послышались чертыханья и смех. Стёп-

100

ку схватили под руки и утащили в другую комнату, откуда почти сразу послышался храп. Батюшка на кладбище идти отказался, злой от такого кощунства уехал.

Гроб на руках снесли на кладбище. Сыны, уже пьяные и грязные от налипшей на них глины, встретили бабу Настю с тихим подвыванием. Прощались недолго. Наспех засыпали могилку землёй – и скорее в дом, – поминать. Соседи и прочий знакомый люд пображничали да и разошлись по домам, обсуждая и осуждая. Осталась самая родная родня. Выпили молча одну, другую, и тут Сашка затынул ни сначала и ни с конца: «На кого ж покинул, милый мой дедочек, на кого ж оставил, сизый голубочек...».

Вдруг из другой комнаты раздался удар по полу, потом ещё и ещё. Вся родня бросилась к дверям. Стёпка заплетающимся ногами выдавал «русскую».

– Ну, батя, ну даёт, а ну раз, ещё раз! – под общий гогот зашумела Томка.

– Вы что ж ржёте? Матка на столе лежит, а они ржут, – остановился Стёпка.

– Батя, схоронили уж! Пьянь ты несусветная, – расхохотался Мишка.

– Как схоронили? Без меня? – Стёпка бросился в горницу. – И впрямь нет. Ну, тогда помянем Настю. – И выпил стакан.

До поздней ночи пели и танцевали в доме у бабы Насти. Так что честь по чести схоронили и помянули сердечную. Не хуже, чем других.

Как там тебе, Настасья Ивановна?

МИРОТВОРЕЦ

Утром колхозники по старой привычке собрались у конторы. Бабы визгливо бранились между собой, мужики, покуривая «Приму», пересмеивались, обсуждая государственные новости да вчерашние свои похождения.

– Костыль, а чё ты здесь делаешь? Ты ж вчерась уехать грозился.

– Куды это? – воровато улыбаясь, спросил щуплый рыжий мужичок.

– Как куды, сербам помогать, забыл, что ли? – притворно удивлялись мужики.

– Не помню такого.

– Не помнит он!.. Вчера вечером полдеревни взбаламутил, ходил, кричал, что, мол, поеду браткам православным подсоблю с Клинтонем разобраться.

– Не может быть, – скромно зарделся Костыль.

– «Не может быть!..» – со смехом передразнили его. – А кто с себя одёжу срывал да в грудь колотил, мол, всех к едрёной матери перестреляю: и Клинтона, и Коля, и Ельцина, а сербов в обиду не дам, мы, что ли?

– Да брешете вы всё, – отмахнулся Костыль. – Я вчера рано домой пришёл.

– Шур, – окликнул Костылёву половину Васёк, – твой говорит, что намерен домой без проблем добрался.

– Убила бы гада ползучего! – раздалось в ответ из бабьей кучи. – Алкаш недоделанный. Явился в одних трусах, еле на ногах держится да и орёт: «Собирай меня, жена, в освободительную армию, повестку для меня из Кремля сегодня сообщили, что направляют меня на защиту Югославии! Так что собирай меня в путь-дорогу, закуски в мешок сложи, сальца там, лучку, огурчиков, хлебца и рублей сто на поездку давай. Еду я, жена, на войну, может, и не вернусь уж обратно, знать, судьба моя такая». Вот ведь какой Илья Муромец выискался!

Вокруг все грохнули хохотом.

– Ну а дальше? – подзуживали Шуру.

– А что дальше? Самой интересно стало, что дальше будет. Стою молчу, а этот освободитель чокнутый распинается передо мной в одних трусах. Я, мол, не могу простить такой наглости империалистам, отвечаю на весь их наглёж со всей своей душевностью! Я им покажу русскую славу своих предков, напомним, как братья-славяне их колотили, всё НАТО вздрогнет... Чего зеньки свои вылупил? Пусть все знают, какой ты дурак, – под оглушительный смех набросилась на Костыля супружница. – Козёл драный, вояка голозадая, пьянь придурочная!

– Замолчи, змеюка! – взвился Костыль. – Будет брехать-то, вот погоди уже, дома поговорим.

– Нет уж, пусть все слушают, – отвернулась от мужа озлившаяся бабёнка. – Ну вот, дальше – больше, расхрабрился совсем, кричит: «Баба, где моё оружие?» – «Какое?» – спрашиваю. Промычал что-то невнятное, видно, соображал, а потом и заявляет: топор, мол, возьму – буду в горах партизанить, и нож – на разведку ходить. Спрашиваю: «А как партизанить-то будешь?» Отвечает: «Соберу по югославским деревням всех мужиков-колхозников, и уйдём, как Ковпак, в горы – эшелоны натовские подрывать и на их гарнизоны нападать, а там и наш десант с Лебедем подоспеет. Разгромим врага – и на Вашинг-

тон, за Родину». «Ну а дальше что?» – интересуясь. «А дальше, – заливает, – Клинтона трибуналом судить будем, НАТО разгоним и Аляску назад себе заберём».

– Что ты брешешь, что брешешь? У, тварь, из ума совсем выжила! – побелел от злости Костыль.

Народ, хватаясь за бока, приседал, подпрыгивал и покачивался от безудержного смеха.

– Костыль, помолчи! Шур, продолжай, не бойся!

– Ну вот, значит, как войну закончим, говорит, вернёмся с победой домой. Ты, значит, Шур, всех в деревне собери, столы накрой, самогону побольше навари, я речь толкать буду. «Про что?» – спрашиваю. «Про войну и победу, про партизанов и трибунал, – отвечает, – про то, как дальше жить станем». «Ну и как, – спрашиваю, – жить дальше после всего этого с тобой придётся?»

Вокруг Шуры раздавались стоны и всхлипы, у баб кончились силы для смеха, мужики, окружавшие Костыля, икали и хрюкали. У многих из глаз катились слёзы.

– Шурка, богом заклинаю!.. – приказывал опозоренный Костыль. – Что вы верите этой злобной дуре, не видите, что глумится она надо мной?! – заорал он на мужиков.

– Шурка, – давились слезами бабы, – про жизнь после победы расскажи, каково нам в ней будет!

– Ну вот, я, значит, мешок в дорогу ему готовлю, а он стоит посередь кухни в одних трусах, руками размахивает и будущее мне расписывает, как тот Кашпировский.

– Ой, Шурка, ой, немоготу уже! – взмолились бабы. – Ой, Костыль – предсказатель!

– Руками, значит, размахивает, дурак рыжий, мы, говорит, и тут порядок наведём, когда возвратимся. Сразу, мол, как прилетим, – десант на Кремль сбросим, всех заарестуем и разберёмся, кто там у них в предателях числится, кто нашу страну империалистам продавал. Всех, кричит, в лагеря, на Колыму, в пожизненное заключение, на хлеб и воду, а потом новую жизнь зачнём строить.

– Заткнись, убью! – рванулся Костыль к супруге, но тут же был перехвачен мужиками. – Всё равно убью! – Дёргался в их объятиях строитель новой жизни.

– Поди Клинтона убей, герой югославского народа! – огрызнулась Шурка. – Там тебя, поди,

заждались, когда ты поезда под откос пускать начнёшь.

– ...в горах! – грянули с новой силой мужики. – Давай, Шур, про счастливое будущее!

– Ну, я и говорю, запел, значит: «Шур, колхозы восстановим, деньги вовремя платить начнём, всех чиновников в районе в дерьмочисты переведём, а нашу бухгалтерию – им в помощники. Зарплату положим для них рублей в десять, доллар отменим и всех спекулянтов землю пахать пошлём. А сами в ихние дворцы вселимся – и на Кипр, в море купаться, каждую неделю на выходные ездить будем».

– Ай да Костыль, ай да сукин сын! Небось дворец-то Березовского себе присмотрел, не больше и не меньше, а?

– Да идите вы... – слабо отбивался незадачливый партизан. – Нашли кого слушать.

– Продолжай, Шурка, – задёргали бабы не на шутку разгорячившуюся жену героя.

– А чего продолжать, заканчивать пора! Я к этому времени мешок с продуктами ему собрала, протягиваю и говорю так жалостливо: «Вот, Ваня, харчи тебе на дорогу, паспорт там в тряпочку завёрнут. Всё, Ваня, иди отсюда и без победы не возвращайся. Я тебя ждать буду».

– Ну а он что? – застонали бабы.

– А что? – уставился на меня, как баран, да как заорёт: «Ты куда это меня гонишь?». Я ему толковываю: «Как куда, в горы к сербам – эшелоны подрывать, сам же собирался», – «Да?..» – удивляется. Забыл, видать, начало разговора. «Так, может, – спрашивает, – это до завтра отложить?» «Нет, – отвечаю, – раз собрался, иди». «Да куда я на ночь глядя? – кричит. – И без одежды?» «Одежду, – говорю, – тебе в Югославии дадут, ты домой уже без одежды пришёл. А ночью, – продолжаю, – добираться сподручней – никто тебя не заметит, когда через границы переходить станешь, да и сам говоришь, партизанить собрался, а партизаны только по ночам и орудуют».

– Врёт! – забился в бессильной ярости Костыль.

– Не вру, вот те крест, – перекрестилась Шурка. – Заныл, значит: «Как я без денег, дай хоть сотню». «Не, – говорю, – русские деньги тебе там ни к чему, а долларов у меня отродясь не бывало. Ступай, Ваня, время не терпит, а то как не успеешь к сроку в горы прийти, до рассвета не управишься, империалисты перехватят, они ведь тоже не дураки, на разведку ходят», – закончила Шурка.

– Не томи, рассказывай дальше, – загалдели вокруг.

– А всё.

– Как всё?

– А так. Я ведь другой рукой уже скалку над головой занесла, он-то понял, что не шучу, и шмыгнул за двери. Я – дверь на крючок и спать. Вот сейчас только и встретились.

– Где ж ты, Костыль, был всю ночь? – повернулись к рыжему мужику сельчане. – К границе разведку делал, что ли?

– На сеновале спал, – уныло прохрипел Костыль. – Проснулся – ничего не помню, слез с сеновала, смотрю – одежда на заборе висит.

– Это я тебе вчера её туда повесил, – засмеялся Васёк, – когда ты её по дороге разбрасывал.

– Не помню я ничего, – стыдливо оправдывался Костыль.

– Цирк с тобой да и только, – похлопывая Костыля по плечам, успокаивались мужики. – То ты армян рвёшься от землетрясения спасать, как напьёшься, то Белый дом защищать, то в Чечню воевать, а теперь вот в Югославию собрался. Клоун ты, Костыль.

– Так ведь душа у меня не на месте, – защищался сердобольный мужичок. – Как выпью, так всю эту несправедливость готов одним моментом изничтожить, а то ведь жить невозможно.

